

## Рационализм, позитивизм и прагматизм как питательная среда для формирования преступного замысла Раскольникова

BORIS TARASOV, *Maxim Gorky Literature Institute*

bntarasov@yandex.ru

Received: June 27, 2017.

Accepted: September 20, 2017.

### АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается сниженный образ человека как усовершенствованного животного, вытекающий из редукционистских выводов позитивистской науки, которая стала предметом пристального внимания Достоевского в период его работы над «Преступлением и наказанием» и составляет важную часть идейно-эстетического контекста многих его произведений. Раскрывается связь этого образа с эгоцентрическими началами человеческой природы, душевно-духовные процессы и эмоционально-волевые импульсы в лоне которых находятся вне компетенции вульгарного сциентизма и вместе с тем оказывают влияние на формирование его методологии и противоречивого единства различных мотивов в созревании преступного замысла Раскольникова.

**Ключевые слова:** рационализм, позитивизм, прагматизм, Раскольников, Достоевский.

## Rationalism, Positivism and Pragmatism as the Nutrient Medium for the Formation of the Criminal Plan of Raskolnikov

### ABSTRACT

The article considers a diminished image of a person as a perfected animal, stemming from the reductionist conclusions of positivistic science, which became the object of Dostoevsky's close attention during his work on "Crime and Punishment" and constitutes an important part of the ideological and aesthetic context of many of his works. The article reveals the connection of this image with the egocentric origins of human nature, the spiritual processes and emotional-volitional impulses which are beyond the competence of vulgar scientism and, at the same time, influence the formation of its methodology and the contradictory unity of various motives in the maturation of Raskolnikov's criminal plan.

**Keywords:** rationalism, positivism, pragmatism, Raskolnikov, Dostoevsky.

На страницах записках тетрадей и подготовительных материалов в середине 60-х годов XIX в., в период работы над «Преступлением и наказанием», размышления Достоевского о проблемах позитивистского сознания принимают последовательный и системный характер. Излагая замысел романа в письме М.Н. Каткову писатель отмечает, что его герой поддается странным, «незаконченным» идеям, лишённым духовно-нравственных оснований и глубинной внутренней логики. Среди таких идей «капитализма» и «социализма», воинствующего экономизма и утилитарной этики, в противоречивом единстве зависимости от которых и борьбы с которыми находится сознание Раскольникова, Достоевский относил абсолютизируемые плоды набравшей во второй половине XIX века в России позитивистской науки (как в её примитивно-натуралистическом, так и вульгарно-социологическом варианте).

В первом варианте сложность, своеобразие и полнота личности (с её идеалами и идолами, высшими и низшими ценностями, противоречивыми корнями свободной воли) сводились к элементарному биологическому уровню (к мозговым процессам,

рефлексам и т.п.). Чем больше освобождалась научная методология «людей из реторты» (так писатель называл позитивистов и даваемый ими образ человека) от духовно-ценностных представлений и идеального измерения жизни, тем упорнее сглаживались принципиальные отличия между уникальным миром личности и природным типом существования. Герой «Записок из подполья», понимание которых чрезвычайно важно для уяснения всесторонней проблематики «Преступления и наказания», замечает: «этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышшь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышшь, но все-таки мышшь...» (Достоевский, 1973а: 104). Духовным проявлениям человека «усиленно сознающая мышшь» подыскивала биологические основания, а его нравственные поступки отождествляла с действиями животных. В такой однолинейной картине личность лишалась всякой значимой самостоятельности, творческой активности и ответственности, всецело определяясь физиологическими процессами, бессознательными влечениями и т.п.

Отказываясь в теории от метафизических спекуляций и обобщений, желая оставаться «при факте», примитивно-натуралистический позитивизм в действительности на материале физиологии, медицины, биологии, контрабандно вводил и распространял наблюдения «евклидова разума» в частных специальных науках на неевклидовы явления и действия, безмерно далеко отстоящие от компетенции данных наук. Позитивизм проецировал собственную короткость на целостность человеческой природы, словно желая подчинить ее своей узости, пригнуть человека.

Вот как, например, предстаёт духовная неповторимость детства и товарищеских чувств в логике философствующего естествоиспытателя в подготовительных материалах: «Друг и товарищ детства. Телячьи нежности... я не понимаю, что такое товарищ детства, да и что такое детство? Отсутствие хряща, недостаток фосфора в мозгу...» (Достоевский, 1972б: 264). Нигилистические выводы примитивистской атмосферы выражает в романе Лебезятников, связывающий физиологию и драматические душевные переживания Катерины Ивановны: «Это, говорят, такие бугорки, в чахотке, на мозгу вскакивают» (Достоевский, 1973б: 325). По его мнению, если объяснить человеку и устранить подчеркнутую причинно-следственную связь, то тот перестанет страдать.

Любопытна и запись Достоевского в рабочей тетради, акцентирующая взаимозависимость материалистического упрощенства и хищнического умонастроения: «Кислород и водород перевертывают... голову... Сон. Всё упразднено. Люди вольные. Все бьют друг друга явно на улице. Обеспечивают себя (откладывают копейку)» (Достоевский, 1972а: 435). По убеждению писателя, «перевертывание головы» биологическими и физиологическими открывает пути к маниакальному самообеспечению и скрытой вражде: зачем стыдиться, кого любить, если ты животное, пусть и усовершенствованное, если ты мышшь, пусть и усиленно сознающая...

Достоевский утверждал, что даваемый позитивизмом образ человека является «куклой, которая не существует» (Достоевский, 1972б: 203), и тут «прямо учение об уничтожении воли и уменьшении личности. Вот уже и жертва людей науке» (Достоевский, 1972б: 447). Ампутация в человеке всего собственно человеческого, «центрального», сокровенного, недоступного однозначному эмпирическому

наблюдению заключена в сведении целого к части, сложного к простому, высшего к низшему, непознанного к познанному, что способствовало сплошному овеществлению человеческого бытия и мышления: «учение материалистов – всеобщая косность и механизм вещества, значит смерть» (Достоевский, 1980: 175).

«Смертные» признаки абсолютизации «учения материалистов» автор романного «пятикнижия» находил в создании благоприятных условий для оправдания эгоцентрической мотивации, выражаясь словами В. Соловьёва «тёмной основы нашей природы» и обесценивания специфического содержания нравственных категорий бытия.

В эпоху творчества Достоевского в России интенсифицировался процесс изменения традиционных ценностных координат и парадигм картины мира, внедрения новых установок сознания, особого акцентирования позитивистски наблюдаемых и математически исчисляемых пластов бытия и укрепления связанных с этими пластами эгоцентрических духовно-психологических сил. Атмосфера вульгарного сциентизма составляет важную часть идейно-эстетического контекста его произведений. В «Братьях Карамазовых» юный социалист-нигилист Коля Красоткин, признающий только естественные науки, квалифицирует всемирную историю как «изучение разных глупостей человеческих, и только». Инстинктивную нелюбовь к истории всякого рода общественных новаторов, реформаторов, гуманистов, позитивистов и эволюционистов Разумихин в «Преступлении и наказании» объясняет тем, что ее сложное и противоречивое богатство, соотносящееся с непредсказуемым и неоднозначным волеизъявлением свободной и греховной природы человека не влезает в априорные схемы их «математической головы»: «С одной логикой нельзя через природу перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и всё на один вопрос о комфорте свести!» (Достоевский, 1973б: 197).

Достоевский фиксирует драматические отношения между укороченным рационалистическим сознанием и жизнью в её разнообразных человеческих и исторических проявлениях, когда мыслящий рассудок, соответствующий лишь, как выражается герой «Записок из подполья» двадцатой части всех совокупных сил человека, становится с эпохой Просвещения верховным судьей мира, единственным мерилем всего существующего. «Никаких прежних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали, - писал Энгельс о просветителях. - Религия, понимание природы, общество, государственный строй — всё было подвергнуто самой беспощадной критике; всё должно было предстать перед судом разума и либо оправдать своё существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилем всего существующего. Это было время, когда, по выражению Гегеля, мир был поставлен на голову, сначала в том смысле, что человеческая голова и те положения, которые она открыла посредством своего мышления, выступили с требованием, чтобы их признали основой всех человеческих действий и общественных отношений, а затем и в том более широком смысле, что действительность, противоречившая этим положениям, была фактически перевёрнута сверху донизу. Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и всё прошлое достойно лишь сожаления и презрения...»

(Энгельс, 1961: 16-17).

Своеобразная вражда к прошлому и даже борьба с ним оказались необходимыми условиями для более радикального изменения ценностных координат и самой картины мира, в которых христианская традиция и историческая память мешали целиком отдаться рассудочно-эмпирической пустоте настоящего и до конца утратили этическое отношение к действительности. «Природному разуму» традиционные идеалы казались «хламом» и «предрассудками», ибо препятствовали возвышению «естественного человека» и сужению его духовного горизонта до натуралистических пределов для акцентирования рационалистических, прагматических, гедонистических сторон бытия. Однако возводимая на естественных основаниях постройка оказалась чреватой новыми иррационалистическими проявлениями и безрассудством, превратилась, по словам того же Энгельса, в «злую карикатуру» на блестящие обещания просветителей в переоблаченный вариант гоббсовской формулы «человек человеку волк».

Разрывая связь времён, уничтожая прошлое, отторгая неподвластные его компетенции «миллионные» реальности, «мыслящий рассудок» очищает место для проекции указываемых им рациональных и позитивистских «случаев» на все сто процентов бытия и тем самым становится своеобразным революционером.

В русле размышлений Достоевского находится данное Ю.Ф. Самариним и достаточно оригинальное определение революции как формально правильного силлогизма, как абсолютной догмы, приговаривающей к смерти всё, что с ней не сходится (сначала с помощью штыков и журналов, а затем с помощью штыков, топоров и вил).

Рационалистический революционаризм принимал на русской почве радикальные формы, ибо трагически столкнулся со своим самым принципиальным противником – глубоко укоренённым в русской истории и народной памяти православным сознанием. Действительно, общие начала, априорные догмы, формально правильные силлогизмы, составленные из посылок Ламетри, Кандильяка и Гольбаха, Бюхнера, Фогта и Молешотта, Кабэ, Оуэна и Фурье, Писарева, Чернышевского и Белинского, Бакунина, Нечаева и Маркса, осуждали на смерть прежде всего то, что принципиально не укладывалось в представления о человеке как об усиленно сознающей мышши (а не образе и подобии Божиим) и усовершенствованной обезьяне и тем самым более всего мешало их самоутверждению, экстенсивному развертыванию в сознаниях людей.

В гротескном и саркастическом виде этот фундаментальный конфликт изображён в «Бесах» в поведении «кусающегося» подпоручика, который выбросил из квартиры иконы, разложил «в виде трех аналоев» сочинения Фогта, Бюхнера и Молешотта и зажигал перед каждой из них церковные свечи. «Необходимо лишь необходимое – вот девиз земного шара отселе», – провозглашает Пётр Верховенский. В ответ на бессвязные мысли Шагова о рождении нового человека в мир как о таинстве жизни Виргинская отвечает: «Просто дальнейшее развитие организма, и ничего тут нет, никакой тайны...» (Достоевский, 1974: 452).

Разоблачением таинственного значения и высшего смысла жизни в романе заняты многие «бесы» и «бесенята. Так, Лямшин запускает мышшь в оклад иконы и с помощью семинариста подсовывает продавщице Евангелия соблазнительные фотографии, студенты считают, что «предрассудок о Боге произошёл от грома и

молнии», а капитан Лебядкин распространяет прокламации с воззванием запирать церкви и призывы «расстрелять Бога» и «предать навеки мщению церкви, браки и семейство» находят свой отклик в военной среде. Посетив пехотный полк, Пётр Верховенский с удовлетворением отмечает: «Об атеизме говорили и, уж разумеется, Бога раскассировали. Рады, визжат». (Достоевский, 1974: 180)

«Новые идеи» же, призванные заменить «раскассированного» Бога и связанные с ним представления о духовном мире человека, покоятся на принципах «пользы, естествознания, равенства, зависти и... пищеварения». К «положительным» наукам апеллируют в произведении почти все нигилисты, находя в них аргументацию для своих бесчинств, в том числе и для убийства Шатова.

Снижение духовного и возвышение материального, подмена веры в Бога верой в науку, укорачивание свободой воли и личностного начала до явлений биологического порядка создавали и в «Братьях Карамазовых» необходимую для преступления корыстно-эгоистическую среду. Особенно резкое неприятие вызывало у автора романа объяснение преступления, обусловленного не только социальным неравенством, но и свободным выбором человеком зла, физиологическими причинами или зависимостью от среды, что снимало с виновного всякую ответственность за содеянное и как бы отменяло сознание греха. Судейские попытки примитивного, «естественного» истолкования злой воли подозреваемого в убийстве отца Дмитрия Карамазова аргументами «болезненных нравов» и «горячки» с едкой иронией обрисованы им в романе.

Сам Дмитрий не может примириться с «бернардами», то есть с учёными-позитивистами, переносящими частные выводы «евклидова разума» в естествознании и вульгарном материализме на процессы в духовной сфере. Он никак не может согласиться с тем, что человек мыслит, страдает и любит не потому, что есть образ и подобие Божие и обладает душой, а потому, как втолковывает Ракитин, что «хвостики» нервных окончаний дрожат вследствие реакции на внешний мир. Ему «Бога жалко», ибо «химия», то есть материалистическое мировоззрение, делающее нелогичными и производными от внешних обстоятельств понятия совести и греха, благородства и великодушия, милосердия и любви способствует их девальвации и вседозволенности: «умному человеку всё позволено, если не попадётся». Зачем стыдиться, чего бояться, кого любить, если, как сказал бы герой «записок из подполья», ты животное, пусть и усовершенствованное, если ты мышь, пусть и усиленно сознающая.

По убеждению Достоевского, подобная «игра на понижение», вела человека к потере подлинной духовной независимости и нравственному оскудению, делая собственный корыстный интерес основой существования индивидов, общественных групп, государств. «Если сказать человеку, - писал он, - что нет великодушия, а есть стихийная борьба за существование (эгоизм) – то это значит отнимать у человека личность и свободу» (1, т. 29, кн. 2, с. 86). В новых научных теориях, подчеркивал писатель, нет любви, а потому основанные на них отношения не изменяют лика мира сего: «Никогда люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безобидно разделить в собственности своей и в правах своих, будет для каждого мало. И все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга» (Достоевский, 1976: 275).

Отсюда и резкий общий вывод о подспудном нигилизме господства

естественнонаучного подхода к целостному и противоречивому духовному миру человека. «Наука в нашем веке опровергает все в прежнем воззрении. Всякое твоё желание, всякий твой грех произошел от естественности твоих неудовлетворённых потребностей, стало быть их надо удовлетворить. Радикальное опровержение христианства и его нравственности» (Достоевский, 1972б: 446).

Обрывки новых теорий нередко возникают на страницах «Преступления и наказания» и составляют значимую часть его идейного контекста. Весьма важен в романе эпизод, когда Раскольников, пробуя вступить на бульваре за преследуемую девочку, машет в бессилии рукой: «А пусть! Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год...куда-то.. к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего...»(Достоевский, 1973б: 43).

Раскольников подразумевает модные научные представления «общественной физики», согласно которым существует постоянный процент жертв, неизбежно обреченных природой на преступление и проституцию. Эти идеи обсуждались в русской периодической печати середины 60-х годов XIX в. В связи с переводом на русский язык книги известного бельгийского математика, статистика и экономиста А. Кетле «Человек и развитие его способностей. Опыт общественной физики». В романе передовой прогрессист Лебезятников с особенной настойчивостью пропагандирует систему Фурье и учение Дарвина, естественнонаучный сборник «Общий вывод положительного метода» со статьями немецкого врача Пидерита «Мозг и дух. Очерк физиологической психологии для всех начинающих» и труд экономиста Вагнера «Законосообразность в по-видимому произвольных человеческих действиях с точки зрения статистики», а также книгу дарвиниста Д.Г. Льюиса «Физиология обыденной жизни», в которой нравственные проблемы ставились в прямую зависимость от физиологических. Подобный подход, обесценивающий специфику нравственных понятий карикатурно воплощается в логике Лебезятникова. По его мнению, целомудрие и женская стыдливость – «вещи сами по себе бесполезные и предрассудочные». Он приветствует возможную измену жены как способ «оторваться от предрассудков» и сам готов привести к ней любовника, а проституцию считает «энергическим протестом» против устройства общества, стремясь «развивать» Соню на основе чтения «Физиологии» Льюиса.

В романе либертиствующий делец Лужин отрицает всякие «предрассудки», «романтизм», «мечтательство» во имя «экономической правды», переводя читателя уже в область вульгарно-социологического позитивизма, который хотя и оперировал не биологическими, а социально-экономическими категориями, но проделывал тот же логический путь. Эта разновидность позитивистской науки также определяла человека извне, считая его целиком и полностью «продуктом среды». Человек в результате предстал в виде послушной «фортепианной клавиши», постоянно регулирующей своё поведение и потребности в соответствии с «игрой» социальных запросов.

В такой последовательности рассуждений «разумное» общественное устройство должно сделать «разумными» поведение и потребности каждой личности. Причём вся эта свободная «разумность» сводилась вульгарными социологами к экономической

пользе, эгоистической выгоде, материальному комфорту. Поэтому представленная обществом возможность каждому индивиду есть, пить и наслаждаться автоматически ведёт в их понимании к уравниловке со средой, к искоренению дурных помыслов из души человека, подобно тому, как отсутствие «бугорков» или здоровое функционирование «хвостиков», определявших «всё» в системе примитивного натурализма, должна предотвращать или искоренять то или иное переживание

«Гармонию» индивидуальных и общественных выгод в утилитарно-потребительском жизнеустройении пропагандирует в романе преуспевающий делец Лужин, довольный тем, что «мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего и вместо вредных предубеждений занялись новыми мыслями и полезными сочинениями во имя науки и экономической правды». Принимая главную евангельскую заповедь за устаревший предрассудок, он противопоставляет ей эгоистический принцип личной наживы как основной двигатель повышения общего уровня материального процветания и соответственно прогресса в целом. «Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью, а казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться...» (Достоевский, 1973б: 116)

О двусмысленности движения к совокупному предупреждению через разумный эгоцентризм указывает Лужину Разумихин, подчёркивающий, что «общее дело» постоянно пакостится скрытым соперничеством и неуёмной жадностью его участников. Предел же этого движения обозначает Лужину Раскольников. «А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...» (Достоевский, 1973б: 118) Такой вывод неизбежен, поскольку теория обновления всего рода человеческого посредством корыстных выгод составляющих его единиц не только лишена какого-либо нравственного основания, но, напротив, опирается, утончая и маскируя их, на греховные начала человеческой природы (любостяжание, сребролюбие, тщеславие, зависть, сластолюбие). Живым опровержением подобного «прогресса» становится сам Лужин, воплощавший низость, наглость, пошлость и способность к любому тайному преступлению. По Достоевскому, постоянная заполненность сознания материальной пользой и эгоистической выгодой опять таки неизменно растворяет, как в кислоте, высшие свойства личности, вытесняет и «опровергает» христианские добродетели из активной жизни в область донкихотских предрассудков, готовя почву для людоедских последствий. Так, Лебезятников, «следящий за новыми мыслями», убеждает Мармеладова, что «сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия». (Достоевский, 1973б: 14)

В торжестве материалистической философии, в укорачивании всей противоречивой

полноты духовного мира человека до его биологических и экономических ипостасей Достоевский обнаруживал упрощенно-утопическое понимание человеческих взаимоотношений, которое не учитывает усиления низших и ослабления высших (свобода, любовь, совесть, милосердие, справедливость, честь, достоинство и т.п.) качеств людей, идущих, как выражается Разумихин, по «неблагородной дороге». В абсолютизации этих ипостасей он усматривал презрение к человеку, неверие в его высшее предназначение и свободу, что на свой лад воспроизводило логику великого инквизитора: люди это «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку». Вопрос ставится «у стены», замечал он в письме к Н.А. Любимову: презирают или уважают человечество будущие его спасители, принимающие его представителей за «усиленно сознающую мышь» или «фортепианную клавишу»?

С другой стороны, от экономических, «разумных», средовых, физиологических, юридических и т.п. внешних определений в позитивистском подходе к человеку ускользает его глубинная духовная природа, особенность его сердечно-волевого центра, питающего его желания. Поэтому, считал писатель, определения эти бессильно скользили по поверхности коренных проблем личности, маскировали и укореняли разные стороны темной основы нашей природы. Пока темная основа нашей природы – писал о творчестве Достоевского Вл. Соловьев, – злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, — пока эта темная основа у нас налицо — не обращена — и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело и вопрос что делать не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления... Истинное дело возможно, только если и в человеке и в природе есть положительные и свободные силы света и добра; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеет» (Соловьев, 1988: 311).

Человек, считал Достоевский, гораздо глубже и сложнее рационалистичности и утилитарности, к которым апеллирует позитивистская наука. Эта глубина и сложность заключаются прежде всего в свободе воли, которая не поддается ближайшему расчету, остается в границах «темной основы нашей природы» или способна преодолевать их. По его убеждению, всякое «научное» и «хлебное» решение социальных вопросов без учета и корректив на подобную волевою глубину и влияния ведущих сил «темной основы нашей природы» чревато непредсказуемыми результатами, что и демонстрирует смена «двух характеров» главного героя.

Своеволие как одна из главных сил «темной основы нашей природы», стремление стать властелином собственной судьбы и чужих жизней подводят Раскольникова к созданию самочинной нравственности, такой теории, которая выражала протест против давимой «физиологией» и «экономикой» личности, против превращения ее в органнй «штифтик» и которая одновременно питалась атмосферой эгоцентрических ценностей и их «безумного» осуществления. Внутренне бунтуя против «презрительного» отношения к человеку в позитивизме, Раскольников в то же время оказывается в плену у него, пронизан в своём мышлении его категориями и

схемами. Честный, талантливый и благородный студент, не терпящий в людях фальши и низости, готовый в любую минуту откликнуться не только на нужды родных и близких, но и на тяготы сталкивающихся с ним по ходу жизни людей, тем не менее устает от бесплодности конкретных добрых дел, не выдерживает давления «среды», питающей соблазны насильственного и тем самым иллюзорного корректирования внешней (не меняющейся по сути) структуры социальной иерархии в пределах «темной основы нашей природы», а не ее органического преобразования путем внутреннего самосовершенствования и личного труда. Служение человечеству он понимает как урегулирование экономических связей между людьми, как перераспределение денег. Рассудочная экономика направляет и весы его арифметической логики: жизнь смешной старушонки – ничто по отношению к ее средствам, поэтому и овладение ими через убийство для возможных добрых дел должно загладиться «неизмеримую, сравнительную пользой».

Реализация же математического подхода к нравственно ущербным добрым делам, использование насилия для достижения справедливости открывают главному герою неведомые глубины его сложной души, в которой любовь к людям и желание помочь им парадоксальным образом соседствует с презрением к ним и стремлением властвовать над ними. Действительно, каким может быть служение человечеству при полном неверии в его духовные возможности? Ведь Раскольников убежден: «Не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит делать. Это их закон. Закон» (1, т. 6, с 321). Этим убеждением обусловлена и невнятность его пафосного служения, которое вместе с выбранными им путями к нему полностью дискредитируется. И тогда сознание героя постепенно продвигается к более фундаментальным целям преступления, до поры до времени дремавшим в глубинах «тёмной основы нашей природы». «Целый месяц», - смеется он над своим служением человечеству, - всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель, - ха-ха!» (Достоевский, 1973б: 211)

Когда лежавшие под спудом цели убийственного эксперимента выходят на поверхность осмысления Раскольников возбуждается и входит в экстаз при встрече с Соней: «Свобода и власть, , а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это!» (Достоевский, 1973б: 253) В черновых записях автора романа, связанных с образом главного героя, читаем: «В его образе выражается... мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество... Деспотизм – его черта... Он хочет властвовать – и не знает никаких средств. Поскорей взять власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая» (Достоевский, 1973в: 155).

Обдумывая всё глубже свое преступление, Раскольников обнаруживает за внешней мотивацией скрытое воздействие гордыни и властолюбия как принципиальных сил «темной основы нашей природы». «Не для того я убил, - признается он Соне, - чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, всё равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое... Я это всё

теперь знаю... Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или *право* имею?» (Достоевский, 1973б: 322)

Раскольников раскрывает в себе притягательную силу идеи власти ради самой власти, в которой любовь к людям подменяется господством над ними, делением их на «герое» и «толпу», «ведущих» и «ведомых», имеющих право и не имеющих оно... И не те или иные конкретные формы господства интересовали его прежде всего, а сама чистая возможность овладеть ими, стать, так сказать, скупым рыцарем от власти, для чего необходимо совершить духовное самоубийство и задушить в себе совесть, способность сострадания и любви, которые наиболее эффективно атрофируются умалением и уничтожением других. В итоге оказывается, что благородная цель не может оправдать низменных средств, мечтания о будущей честной работе никнут перед кровавой реальностью преступления, удар топора опрокидывает все арифметические расчеты, совесть не подчиняется логике, душа содрогается в конвульсивных страданиях.

«Старуха была только болезнь, - движется мысль Раскольникова от поверхностных объяснений к подлинным причинам преступления, от социальных мотивов к духовно-психологическим, - я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался...» (Достоевский, 1976: 211) Черт, как известно, советовал, правда, без особого успеха, Ивану Карамазову «отвыкнуть» от совести, чтобы стать «как боги». И Раскольников также не смог побороть эту «привычку», врачующую воздействие эгоцентрических сил.

Духовная драма «убийцы-теоретика», против отвлечённых умствований которого восстает его собственная живая натура, приводит его к осознанию реальной сущности и губельного смысла овладевшей им идеи, к ощущению спасительной тоски и возможности евангельского выхода «с Богом» за пределы «темной основы нашей природы». В упоминавшемся письме М.Н. Каткову Достоевский отмечает, что после убийства процентщицы «развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божья правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтоб хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое... Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело.» (Достоевский, 1985: 136)

Достоевского и интересовали прежде всего сложные взаимоотношения доброй и злой воли в духовно-психологическом ядре человека, противоречивые движения живой души, «непредсказуемые и неожиданные чувства» которой не вмещаются в рациональное сознание и позитивистскую методологию. Внимание писателя-мыслителя и было устремлено на разгадывание «тайны человека», той области фундаментального человеческого самопроявления, которая не покрывалась (и отсекалась) понятиями

биологии, социологии, экономики, юриспруденции и без проникновения в которую невозможно понять смену «двух характеров» Раскольникова, мытарства его души.

## REFERENCES

- Достоевский, Ф.М. (1972а). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Т.1. Ленинград: Наука.
- Достоевский, Ф.М. (1973а). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Т.5. Ленинград: Наука.
- Достоевский, Ф.М. (1973б). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Т.6. Ленинград: Наука.
- Достоевский, Ф.М. (1973в). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Т.7. Ленинград: Наука.
- Достоевский, Ф.М. (1974). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Т.10. Ленинград: Наука.
- Достоевский, Ф.М. (1976). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Т.14. Ленинград: Наука.
- Достоевский, Ф.М. (1980). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Т.20. Ленинград: Наука.
- Достоевский, Ф.М. (1985). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Т.28. Кн. 1. Ленинград: Наука.
- Достоевский, Ф.М. (1986). *Полное собрание сочинений в 30 т.* Т.29. Кн. 2. Ленинград: Наука.
- Достоевский, Ф.М. (1972б). *Литературное наследство: Неизданный Достоевский: записные книжки и тетради 1860-1881 гг.* Т. 83. М.: Наука.
- Энгельс Ф. (1961). *Маркс К. Энгельс Ф. Собрание сочинений 2-е издание.* Москва: ИПП.
- Соловьев, В. С. (1988). *Собрание сочинений в 2 т.* Т.2. Москва: Мысль.